Кэрил Эмерсон

*Предисловие к «Телам террора»
Михаила Рыклина¹*

В бурный период, вошедший в историю как «эпоха Горбачева», в Институте философии Академии наук СССР было создано исследовательское подразделение под необычным названием «Лаборатория постклассических исследований». Оно пользовалось поддержкой тех реформистских кругов в правительстве, которые опасались, что русская культура, поддерживаемая государством, однажды открывшись Западу, покажет себя ограниченной, наивной, изуродованной накопившейся глупостью марксистско-ленинской идеологии и безнадежно устаревшей. В штат Лаборатории набрали толковых молодых исследователей, предоставив им полный доступ к каноническим текстам и влиятельным мыслителям современной литературно-критической сцены.

В эту группу входил плодовитый философ культуры из Института философии Михаил Кузьмич Рыклин (1948 г.р., с 1978 года – кандидат философских наук²). Владея французским, английским и немецким языками, Рыклин переводил на русский главные

¹ Перевод выполнен по изданию: *Emerson C. Preface to Mikhail K. Ryklin, «Bodies of Terror»*. – In: *New Literary History*, Winter 1993, Vol. 24, N^o 1 (Culture and Everyday Life), pp. 45–49.

² На сайте ИФРАН – с 1979. – *Прим. пер.*

работы Леви-Строса, Барта, Фуко, Гадамера, Адорно и маркиза де Сада. К тому времени им уже была переведена «Золотая ветвь» Фрэзера³, и он отвечал за статьи о Бланшо, Батае и «Tel Quel» в «Словаре современной западной философии», вышедшем в Москве в 1990 году. Но Рыклин был и чем-то большим, чем простым проводником европейской мысли на вновь освобожденный и уязвимый Восток. Он выступал также и в роли энергичного организатора конференций и комментатора, интегрирующего наши новейшие литературные понятия в актуальный контекст бывшей советской сцены, попавшей в бархатные рукавицы постструктуралистского посткоммунизма. В 1989 году Рыклин участвовал в организации визита Жака Деррида в Москву. В том же году Лаборатория запустила семинарский и издательский проект под названием «Авангард и философия по краям» – остававшийся краевым, безусловно, недолго. В работах Рыклина, опубликованных и готовящихся к публикации, встречаются такие знакомые сочетания слов, как «Власть и советский дискурс», «Сексуальность и дискурс⁴: антирепрессивная гипотеза Фуко», «Шизоанализ культуры», «Власть и политика литературы» и «Литература без литературы» (последняя статья вышла в 1990 году в альманахе «Альтернативная русская поэтика»).

С точки зрения теоретической терминологии поколению Рыклина была уготована та же работа – хоть и в меньших масштабах и в канун двадцать первого века, – что великий предтеча романтиков Николай Карамзин сделал для века девятнадцатого: ввести чужеродную литературную лексику в давно закосневшую официальную речь.

Следуя схеме, все шире распространяющейся среди одаренных российских гуманитариев, Рыклин теперь выезжает на Запад как стипендиат, занимающийся научной работой. По приглашению Деррида он провел 1991–92 годы в Париже в качестве лектора Высшей школы социальных исследований. В 1992–93 годах он

³ Переиздание перевода вышло в 2001 году в издательстве «ТЕРРА-Книжный клуб». – *Прим. пер.*

⁴ Имеется в виду скорее «власть». – *Прим. пер.*

дебютировал в Америке как стипендиат Общества гуманитарных наук Корнельского университета; тема его исследования была полностью созвучна его собственным, а также университетским обстоятельствам времени и места: «Россия Набокова: история как объект желания». Кто бы мог поверить в это десять лет назад?

Данное эссе, переведенное Молли В. Уэслинг и Дональдом Уэслингом, представляет особенно интересную (в силу самобытности) сторону таланта Рыклина. Впервые «Тела террора» были опубликованы в пилотном выпуске нового «Бахтинского сборника» (Москва, 1990). Это периодическое издание – один из результатов взрыва интереса к Бахтину, случившегося в годы перестройки, того, что россияне называют «бахтинским бумом» и что само по себе – явление захватывающее, требующее неослабного внимания.

Со времени смерти Бахтина в 1975 году из академического философа он превратился в культовую фигуру. Но в России почитание Бахтина отличается от нашего. Все еще наиболее популярные у нас аспекты бахтинского наследия – роман как подрывной жанр, карнавал как перманентная революция, культура как поле битвы, где маргинальные фигуры постоянно расшатывают центры, – на родине Бахтина немного теряют свой блеск. И это неудивительно: подрывные формы, революция и миф о коллективном «народном теле», которое не чувствует боли и не умирает, каким бы мучениям оно ни подвергалось, по понятным причинам вызывают меньший восторг в бывшем Советском Союзе, нежели на Западе. На семинарах, лекциях и в антологиях, посвященных Бахтину в России – а их число постоянно растет, – ослабевают внимание к героическому максимализму, характерному для работ Бахтина 1930-х и 40-х годов; взамен оно все больше переносится на ранние и незаконченные статьи периода 1920-х, на серьезные духовные размышления об этике индивидуации и личности. Работа Рыклина принадлежит несколько иному, но не менее сильному исследовательскому течению, представители которого обращаются к Бахтину не столько с целью восстановить гуманизм, сколько для того, чтобы объяснить привлекательность, успех и искажения марксизма-ленинизма.

Такая задача могла быть выполнена только в условиях двух парадигмальных сдвигов в рамках унаследованной области бахтинской мысли – и на Востоке и на Западе. Во-первых, предстояло переосмыслить мистику карнавала и ее, так сказать, демистифицировать. Во-вторых, исполненную страстного воодушевления концентрацию Бахтина на освобождающей открытости и многообразии *мира* (поразительный логоцентризм, демонстрируемый Бахтиным, к примеру, в его статье 1959–61 годов «Проблема текста», когда он пишет: «Язык, слово — это почти все в человеческой жизни»⁵) предстояло дополнить идеей видения – его непосредственностью, его невероятной уязвимостью перед симуляцией, его терпимостью к молчанию и смерти и, следовательно, его бесконечным потенциалом к злоупотреблению. При осуществлении данного проекта Рыклин основательно опирается на книгу Бахтина о Рабле, но отнюдь не с позиций ликования и утопичности. Стиль изложения самого Рыклина также весьма далек от языка «Рабле и его мира», где Бахтин чередует наивную экзатичность с тяжеловесной академической прозой.

На самом деле риторическая вязкость «Тел террора» требует от читателей некоторой подготовки. Можно было бы в этой связи обратиться к эссе, уже по-английски, а именно к «Metamorphoses of Speech Vision» [«Метаморфозам речевого зрения»], предисловию к недавно опубликованному каталогу выставки. Оно представляет собой часто нечитаемый, но все же провокативный образец перенасыщенной критической прозы – весьма в духе французских теоретиков, – освоенной сегодня российскими интеллектуалами, которым, наконец, позволили всё.

В «Метаморфозах», так же как и в «Телах террора», Рыклин использует вначале туманную, но затем оказывающуюся на удивление продуктивной стратегией. В соответствие с ней он применяет самый радикальный и модный дискурс к тому, что только в посткоммунистическом контексте может быть названо гуманистическими целями. В качестве примера мы можем про-

⁵ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: «Искусство», 1979, с. 297. – Прим. пер.

цитировать отрывок из «Метаморфоз», имеющий прямое отношение к переведенному здесь эссе. В 1930-х годах, пишет Рыклин, «разрушение *персоналогического* принципа... было настолько полным», что книга Бахтина о Рабле читалась «как гимн победе коллективного»⁶: «индивидуация как смертный грех»⁷ была ее основным тропом. Но ничего по-настоящему не могло возникнуть в таком опустошенном месте: «Именно коллектив стал объектом репрезентации для терроризируемых индивидов (“творческой интеллигенции”), и, более того, любые попытки наделить массы чертами нового Субъекта потерпели крах»⁸. Под влиянием работ Жана Бодрийяра о соблазне симуляции Рыклин критикует невменяемую «панречевую культуру» коллективных субъектов и далее замечает по поводу иконографии эпохи сталинизма:

В скульптуре, – например, в скульптуре метро, – бесконечность чувства имеет своим визуальным эквивалентом стирание лица как объекта созерцания, вообще дискредитацию акта созерцания. Взгляд этих существ стирает лицо... Этот взгляд антибиологичен в том смысле, что утверждает неизбежность становления и за пределами жизни... коллективная идентичность, вытекание внутренней субстанции личности через взгляд, и в пластической форме ускользает от репрезентации. <...> Устремленность к коллективной идентичности превращает эти изображения в симулякры: этим экстатичным образованиям нельзя вменить никакой ответственности и вместе с тем они не знают по отношению к себе ничего внешнего. В этом отношении на картинах и во всей образности эпохи Большого Трора действуют не обычные визуальные образы, а зомби, аккумулировавшие в себе смерть и в силу этого абсолютно живые. В отличие от классических обра-

⁶ Рыклин М. Террорологиики. Тарту –М.: «Эйдос», 1992, с. 37. – *Прим. пер.*

⁷ Там же, с. 36. – *Прим. пер.*

⁸ Ryklin M.K. *Metamorphoses of Speech Vision* (trans. C. Troy). In: – *Between Spring and Summer: Soviet Conceptual Art in the Era of Late Communism* / Ed. D.A. Ross. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990, p. 138.

зов, всегда склоняющихся перед приматом события-прототипа, зомбийные «образы» уничтожают саму возможность прототипического. С этим связана их «неинтересность», переполненность вневещными энергиями и агрессивность по отношению к любому профессионализму и виртуозности⁹. Простая видимость равносильна десакрализации. Невидимость таких несводимых тел обеспечивается... преобладанием в культуре тотального речевого зрения, которое может видеть все при условии, что ему нельзя ни видеть вещи по отдельности, ни обращать внимания на несводимость телесных явлений¹⁰.

Все это весьма далеко от строгого гулаговского реализма Солженицына. И тем не менее я считаю, что оба подхода вписываются в один и тот же очистительный проект. Как утверждает Рыклин в своих «Телах террора», на первый взгляд радостная книга Бахтина о раблезианском карнавале оказывается результатом сложной травмы. Создавая книгу о Рабле в сталинские 1930-е годы, Бахтин писал реквием по индивидуальному телу. Ваше тело, мое тело стало случайным, синтетическим, идеально заменимым, немым – а вместо него коллективное народное тело получило все репродуктивные и риторические права. Оно умереть не могло, так что другие получили свободу убивать лично вас. Но что такое это «народное тело» у Бахтина и чем оно было в сталинскую эпоху? В сущности, его невозможно увидеть или услышать: оно слишком ослепительно, грозно, первозданно и деперсонализировано, оно «поражает слепотой каждого, кто осмелится на него взглянуть»¹¹. Эта анестезирующая монументальность нигде не достигает такой степени плотности, как в московском метро. Как отмечает Рыклин, проистекающие из этого невидимость реальных тел и слепая – в буквальном смысле слова – вера в утопию были необходимы для того, чтобы запустить в действие «террористический экстаз».

⁹ Рыклин М. Указ. соч., с. 85. – Прим. пер.

¹⁰ Ryklin M.K. Op. cit., pp. 136–137.

¹¹ Рыклин М. Указ. соч., с. 37. – Прим. пер.

В этом пугающем опыте культурного исследования, которое может и не вскрыть реальных намерений Бахтина, побудивших его писать о Рабле, мы можем разглядеть совсем иной аспект бахтинской карнавальной мистики. И это должно нам дать возможность сделать паузу, остановиться. Ибо в какофонической атмосфере современной российской интеллектуальной жизни, такой изнуряющей и при этом такой энергичной, работа Рыклина еще раз подтверждает, что в основе посткоммунистических попыток проложить восстановительный путь через руины лежит борьба за личность.